



## НАМ НУЖНО ОБЩЕНИЕ

Седьмого сентября 1976 года я ушел из дому. Как это случилось: мы с женой сидели и смотрели телевизор. Началась передача «В мире животных». Заиграла прекрасная музыка, и затанцевали страусы. Я понял, что если сию секунду не встану и не уйду, то я что-то совершу, например: сброшу телевизор на пол или выскочу в окно. Причем если я выскочу в окно, то полечу не вниз, а вверх. Я вылечу за пределы Земли и обращусь в искусственный спутник. Время меня не коснется, я буду вечно летать во мраке и холоде.

Я встал и надел пальто. Жена решила, что я пошел в киоск за сигаретами, и велела мне не сутулиться при ходьбе. Она сказала, что когда я хожу, то ныряю вниз головой, как пристяжная лошадь. Еще она сказала, что я все время смотрю вниз, будто хочу найти на асфальте монетку.

Когда-то в детстве я действительно любил искать монетки, и находил, и каждый раз смотрел: орел или решка.

Сейчас я давно ничего не ищу.

Я вышел на улицу и двинулся куда глаза глядят. Мои глаза действительно привели меня к табачному киоску, и я купил целый блок болгарских сигарет.

Я закурил и, пока курил, раздумывал: что делать дальше.

Как правило, люди сначала раздумывают, а уж потом уходят из семьи. А я сначала ушел, а потом стал раздумывать.

Наши отношения с женой, как это ни странно, были сильны не общими приобретениями, а общими утратами. Она из-за меня утратила способность к материнству и возненавидела меня за это. А я из-за нее утратил способность к авантюризму и остался тем, что я есть. Я выноживаю нарушителей порядка и стою на страже частной собственности граждан. В сущности, у меня собачья должность, и, может быть, поэтому я понимаю собак.

Ко мне подошла бездомная собака, похожая на Каштанку, а возможно — ее дочка или внучка.

— Как дела? — спросил я.

— Кручусь, — ответила Каштанка.

— Есть хочешь?

— Вообще-то я завтракала, — деликатно сказала Каштанка и посмотрела мне в руки.

В руках у меня была зажженная сигарета. Каштанка постояла немножко и отошла.

Из-за своей жены я не ушел шесть лет назад на зов любви и до сих пор жалею об этом. Она тоже жалеет о чем-то своем и иногда начинает рыдать по три дня подряд. Ест и плачет. Ходит — плачет. Спит и плачет. Мы исполняем каждый день по отношению друг к другу роль жертвы и палача одновременно. Не знаю — что чувствует она. Если попытаться сформулировать мое состояние — к нему больше всего подходит слово «скучно». Скучно моим глазам, моим мозгам и моей плоти. Когда я нахожусь с женой в одной комнате, то мне кажется: я медленно спускаюсь по лестнице в подвал с проросшей картошкой. На меня так же веет холодом и мраком, и так же хочется выйти на солнце.

Табачный киоск расположен против универмага. В универмаге продают ковры, и за коврами выстраиваются длинные очереди, преимущественно из узбеков и цыган. Из дверей то и дело появлялись люди, поперек их груди, как лавровый венок, висел скатанный ковер.

Я достал другую сигарету и почему-то вспомнил, как неделю назад я стоял в очереди за живой рыбой. Большой зеркальный карп поднял голову из аквариума, разинул рот и тянул в себя воздух. Он задыхался. Вокруг были его знакомые и родственники — такие же карпы. Ему было не до них.

Но при чем тут карп. Карп — это я. Я ушел из аквариума в море, хотя карп — речная рыба. Значит, в озеро. Или в реку.

Я ушел из аквариума, и мне надо где-то переночевать.

Можно пойти к друзьям, но это неудобно. Мы дружим домами, преимущественно по телефону. Они дружат со мной и с женой, и, явившись ночевать, я должен ставить их перед проблемой выбора: я или жена. Зачем загружать жизнь друзей еще одной проблемой.

Возле входа в универмаг на ступеньках сидела роскошная молодая колли. Я не заметил, как она появилась. Колли смотрела перед собой, в ее глазах дрожали слезы.

Я присел перед ней на корточки и спросил:

— Ты чего?

— Мне очень страшно. Я боюсь, что мой хозяин не вернется.

— Вернется, — сказал я. — Куда ж он денется?

— А почему ты так думаешь? — спросила колли, глядя мне в глаза.

— Потому что ты его ждешь.

Я выкурил еще одну сигарету и пошел домой. В конце концов — моя жена тоже карп.

Я решил снять какое-нибудь жилье, а уж потом уйти из дома. Решить — это одно. А снять — совершенно другое. Первое зависит только от меня, а второе — это уже сумма двух желаний.

Я раскинул сети, и в мои сети попала одна полудохлая рыбка. Заведующий отделом Гракин предложил свою зимнюю дачу. Он сказал, что там — все удобства городской квартиры, с той только разницей, что городская квартира стоит в промозглом переулке среди камня и выхлопных газов. А на даче — деревья, белки и тишина.

Гракин — довольно молодой и довольно интеллигентный человек с превосходными зубами. Он с двадцати пяти лет в начальниках, правда в некрупных, и, думаю, выше не пойдет. Он любит ходить в бассейн, на ипподром, в Большой театр на дневные представления. Его невозможно застать на месте. Гракин приходит на работу только для того, чтобы дожидаться нужных звонков и уйти навстречу жизни, которая бурно и многообразно течет за окнами его кабинета.

В одно из воскресений я заехал за Гракиным, и мы отправились смотреть дачу.

Было начало ноября.

Деревья на участке еще не облетели. Стояли золотые, гордые и прекрасные.

Дача походила на деревенскую избу, но это была не изба, а именно стилизация под избу: простота, идущая не от бедности, а от богатства и вкуса. Внутри дома все, включая потолок, было отделано деревом.

Мне казалось, что все беспокойство, накопившееся за жизнь, стекает к моим ступням и сквозь дерево уходит в землю, а я становлюсь легок и спокоен.

Этот дом достался Гракину от его родителей и, как я понял, был ему совершенно не нужен, потому что зимой он отдыхал в горах, а летом на море.

В комнате стояла старая и старинная мебель, которая не пригодилась в городе, так как скорее относилась к хламу, чем к антиквариату.

Возле стены — черная японская ширма, инкрустированная перламутром. Огромный письменный стол величиной с бильярдный.

Пианино с роскошными тяжелыми подсвечниками было расстроено донельзя. Я открыл крышку и тронул клавишу. На звук заглянула крупная серая кошка. Она строго посмотрела на меня и поздоровалась, мяукнула дребезжащим, скрипучим голосом — абсолютно таким же, как в пианино.

— Это Клава, — представил кошку Гракин.

За окном свистел ветер, а в комнате было тепло, и уютные круглоголовые японцы бродили по черной ширме.

Я решил оставить за собой эту дачу и заплатил за три месяца вперед. Я почему-то думал, что Гракин не возьмет с меня денег, у него был вид бессребреника, но Гракин запросил шестьдесят рублей в месяц. Он был привязан к деньгам, как все пьющие люди. Для пьющих каждый рубль — это треть бутылки. А треть бутылки — это начало прекрасных заблуждений.

Однажды Гракин сказал мне, что когда бывает пьян, то чувствует себя как под анестезией. А когда он трезв — ему больно жить на белом свете.

Гракин пересчитал деньги и сунул их во внутренний карман пиджака. Я пошутил над новосельем.

Гракин засмеялся, и мне вдруг стало грустно. Всякая самоирония в конечном счете оборачивается жалостью к себе. Мне стало жаль себя. В моем возрасте, когда уже можно иметь внуков, я только начинаю жить, как молодой специалист, приехавший в деревню по окончании института.

Я всю жизнь мечтал иметь собственный загородный дом. Я люблю природу и одиночество. Гракин не понимает природу и не переносит одиночества. Ему этот дом, в сущности, ни к чему. Но у него он есть, а у меня нет. И никогда не будет.

У Гракина — трое детей от двух жен. А у меня — ни одного.

Последние десять лет я мечтаю приобрести себе дубленку. Но я только хочу, а у Гракина их две: одна канадская — для представительства, а другая монгольская — для сильных холодов.

К моим ногам подошла кошка Клава.

— Дай мне что-нибудь, — продребезжала Клава и посмотрела на меня склочным взором.

Я достал из кармана маленький круглый диск овсяного печенья.

— Это сладкое, — сказала Клава. — А я хочу есть.

— Сейчас я тебя накормлю, — пообещал Гракин и полез в висячий холодильник.

Из обувной коробки выглядывал крошечный котенок. Я хотел взять его на руки, но Гракин предупредил:

— Блохи...

Котенок тарасил на меня глаза в голубоватых белках.

— Выведем, — пообещал я ему.

— А ты останешься? Ты будешь с нами жить? — Котенок еще шире растарасил свои глаза.

Я с удовольствием остался бы на даче. Я сел бы за большой стол, как роденовский «Мыслитель», и сидел бы так час, два, и мне бы никто не мешал. Я остался бы прямо сейчас, но Гракину надо было возвращаться, и я повез его в город.

В дороге Гракин жаловался мне на свою жизнь. У него был загородный дом, дети, прекрасные зубы, две дубленки, но не было душевного равновесия, и он с удовольствием поменял бы все, что он имеет, на то, чего у него нет. Потом он сказал, что перепоручает мне Клаву с котенком и я должен о ней заботиться. Клава, как я понял, была сугубо дачная кошка. Она жила с хозяевами только летний сезон, а когда хозяева переезжали в город, то Клаву почему-то не брали. Может быть, в городе у них была другая, городская кошка.

Мы приехали в Москву в девять часов вечера. Ехать снова на дачу уже не имело смысла, тем более я должен был взять из дома свои книги и бумаги.

Я вернулся домой. Жена сидела перед духовкой на корточках и заглядывала: не запеклась ли корочка. Она делала шарлотку из яблок и хотела меня угостить.

У нас не было детей, и я был ее единственным ребенком. У нее не было ни отца, ни братьев — я был ее единственной родней и единственным смыслом ее жизни. И как бы ни скучна была жизнь, это была ее жизнь. И другой жизни у нее не было.

Я разделся и, не говоря ни слова, прошел к своему рабочему столу.

Я включил магнитофон на полную мощность и принялся за свою диссертацию. Я пишу ее, как летописец Пимен, — из года в год. Изо дня в день. Какой-нибудь трудолюбивый потомок через много лет



найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою настольную лампаду, включит, как я, свой магнитофон...

Когда я работаю — у меня манера: подпирать лоб ладонью. Эта манера, как и вообще все манеры, входит в невроз навязчивых привычек, и я ее не замечаю. Еще я не выношу, когда моя комната прибрана и проветрена. Я люблю обстановку разбросанных бумаг, захламленности и тепла. Очень может быть, что мои далекие предки — свиньи.

Входит жена и что-то говорит.

Я поднимаю голову от текста и не сразу понимаю, что она хочет. Я только вижу ее глаза — светло-голубые, почти белые. Без верхних век, они вделаны прямо в лицо, и вид у них просто зловещий. Два зловещих глаза на немолодом лице. Из-под байкового халата видны мои теплые кальсоны — трикотажные, с начесом, которые я давно не ношу. Моя жена все время мерзнет и ходит по дому в мужском белье.

Я долго смотрю на нее, потом переспрашиваю:  
— Чего?

Жена говорит, чтобы я убрал руку ото лба, иначе я похож на Илью Муромца, высматривающего из-под ладони татар. Потом открывает форточку и начинает подметать комнату, приговаривая при этом, что она женщина и ее угнетает грязь в ее доме.

Я снимаю руки со стола и гляжу перед собой. Я чувствую себя как жертва, к которой пришел палач и, прежде чем заняться своим прямым делом, решил подмести мою камеру. Я поднимаю голову из аквариума и втягиваю воздух.

Я медленно спускаюсь вниз по лестнице, и захожу в подвал с проросшей картошкой, и различаю во мраке бледные ростки.

— Опять уходишь? — спросила Клава.

— Но ведь я тебя накормил. Скажи, только честно: тебе когда-нибудь сырую курицу давали?

— При чем тут курица... Мне нужно общение. Мне скучно...

— И мне скучно. — Котенок высунул мордочку из коробки. — Я могу одичать. Из меня может получиться рысь.

Я взял котенка и понес его в ванную комнату. Блох мы уже вывели и теперь поддерживаем чистоту.

Я налил в таз теплой воды, насыпал немного стирального порошку, взбил. Над тазом взошла хрупкая, нежная пена. Я опустил туда котенка. Стал мыть осторожно, следя, чтобы вода не заливалась в уши.

Заглянула Клава и сказала:

— Не простуди его.

Я набрал в ковш чистой воды. Котенок поднял лапы и положил их на голову, на загнутые ушки. Я окатил его чистой водой. Потом завернул в махровое полотенце. Промокнул. Протер насухо и пустил на пол. Шерстка у него поднялась дыбом.

Котенок зашагал по дому, задрав хвост, а я за ним следом, испытывая радость от проделанного полезного труда.

— Приходишь и уходишь, — сказала Клава. — Зачем ты снял дачу?

Я молчал.

— Ну зачем? Во имя чего? — Клава остановила на моем лице свои красивые глаза.

— Во имя свободы, — сказал я.

— Чего? — переспросила Клава, хотя прекрасно расслышала. Я видел это по ее морде. — Платишь шестьдесят рублей в месяц и едешь каждый день

сорок километров в один конец. Это называется «свобода»?

— Возможность свободы, — поправил я себя. — Должен же я платить за возможность свободы...

— А зачем тебе возможность?

— Я могу быть свободным, как только захочу.

— Так захоти.

— Когда надо, тогда и захочу. Ты еще будешь мне диктовать: что и когда я должен хотеть...

— Я скажу хозяину: пусть он сдаст дачу нормальным людям. А то ты и сам не живешь, и другим не даешь. Носишься, как мышь в уборной.

— Что за сравнение?

— Ты не видел, а я видела.

— Ну, и какой у нее выход? — поинтересовался я.

— У кого?

— У мыши в уборной.

— У нее два выхода: один — потонуть в унитазе. Другой — ко мне в лапы.

Я представил себе настроение мыши и сказал:

— Вот ты меня ругаешь, а сама живодерка порядочная.

— Но это мой долг, — ответила Клава. — У тебя — твой, а у меня мой. Хотя, если бы ты был котом...

— Что бы было?

— Ты бы сначала извинялся перед мышью, а потом перед хозяином и всех бы просил войти в твое положение.

— И что дальше?

— Это зависит от хозяина. На их месте я бы взяла другого кота. Не такого интеллигентного.

Клава повернулась и пошла из комнаты. Ей не хотелось ругаться со мной окончательно: все-таки она от меня зависела. Я ее кормил.

Я сел за деревянный стол.

Котенок разогнулся и прыгнул мне на спину. Со спины перебрался на плечо. Устроился на плече и громко замурлыкал мне в самое ухо. Запел по-кошачьи. Я закрыл глаза, и мне захотелось замурлыкать вместе с ним. Но я не умел.

— Останься, — попросила Клава, входя. — Утром мы выедем на улицу и сделаем зарядку.

— Ты найдешь гриб... — пообещал котенок.

Я представил себе белый гриб, прикрытый сверху листом, звонкий шелест деревьев. А потом я представил себе жену, которая сидит возле телефона и узнает: не зарегистрирован ли в Москве несчастный случай. Ей отвечают, что в Москве каждый день — сорок несчастных случаев. Тогда она звонит в морг больницы Склифосовского и спрашивает: не привезли ли туда мужчину сорока пяти лет с бородкой, похожего на президента Линкольна.

Я снял котенка с плеча. Он перестал петь.

— Я не могу остаться, — сказал я. — Я не предупредил.

Клава промолчала.

— Почему ты молчишь?

— Если я скажу тебе: «останься», ты же все равно уедешь.

— Хотите, поедем со мной, — предложил я.

— Нет, — отказалась Клава. — Мы дачные кошки. Мы должны ловить здесь мышей.

На улице сильно подморозило. Стекла в машине обледенели. Я не видел, что делается сзади и с боков, и ехал вслепую. Ко всему, у меня испортился поворотник, и если я собирался повернуть, то не мог предупредить машину, идущую за мной следом.

Я подвергал себя и других реальной опасности и, как и Клава, справедливо не понимал: во имя чего? И вместе с тем у меня было такое чувство, как будто кто-то, именуемый Судьбой или Совестью, охраняет вверенные мне существа и навязывает свою волю свыше.

Когда я приехал домой, жены не было. Я решил, что она вышла к соседям и скоро вернется. Но прошел час, потом другой. За ним третий.

Я сел к телефону, позвонил в милицию и спросил: не зарегистрирован ли несчастный случай. Мне ответили, что в Москве каждый день сорок несчастных случаев. Я стал звонить в справочную больницы Склифосовского, но в это время в двери повернулся ключ, и в моей душе, как ключ в замке, повернулась радость.

Жена сняла в прихожей пальто и вошла в комнату. На ней было темно-зеленое полудлинное платье — то самое, в каком я увидел ее первый раз двадцать лет назад.

— Что это за платье?

— Модно, — ответила жена. — Не могу же я игнорировать моду.

Я понял: это другое платье. Просто вернулась мода двадцатилетней давности, и жена вошла в комнату будто из своей молодости. Вошла и остановилась.

— Ты перебила мне сон. Я теперь не засну, — упрекнул я.

Мне не хотелось спать. Мне хотелось объяснений.

— Я ненадолго, — объяснила жена. — Я сейчас ухожу.

— Куда?

— В другую жизнь.

Она задвигалась по комнате и стала искать вещи, необходимые ей для другой жизни.

У жены было странное свойство роговицы: блестеть. И сейчас ее большие голубые глаза блестели, будто были подсвечены. Черные волосы блестели как лакированные. Нарядно поблескивали ногти на руках.

Жена остановилась, обдумывая, чуть закусив нижнюю губу.

— Кальсоны возьми, — напомнил я.

Жена улыбнулась рассеянно. Улыбка у нее была какая-то неокончательная. Когда я ее полюбил, то мне кажется — именно за эту застенчивую улыбку и светящиеся глаза.

Жена взяла кальсоны и положила их в красивый целлофановый пакет. Больше ей ничего не понадобилось.

— Не уходи, — попросил я.

— Я устала жить без любви, — сказала жена.

— Передумай, — попросил я.

— А зачем?

Жена посмотрела на меня. У нее было такое же выражение, как у Клавы. И такие же красивые глаза.

И я подумал: «Действительно, зачем?»

На другой день я раскрыл канцелярскую папку и принялся за свою диссертацию.

Моя комната была не прибрана и не проветрена.

Никто ко мне не заходил и не требовал, чтобы я отнял руку ото лба. Я мог работать сколько угодно, но мне не хотелось. Для того чтобы мне захотелось работать, надо, чтобы мне кто-то мешал.

Я подвинул к себе кроссворд. Прочитал: «Столица Португалии». И подумал: «Где Португалия? А где я?»

Я посидел и снова лег спать не раздеваясь. Я лежал целый день и смотрел в потолок.

К вечеру я встал и пошел на кухню. Достал из холодильника кусок вареной колбасы, но одному есть было неинтересно. Я завернул колбасу в газету и поехал на дачу.

Смеркалось. Окна в доме были освещены. Двигались тени.

Я открыл дверь и услышал торопливый, обгоняющий себя голос спортивного комментатора. Я догадался: по телевизору транслировали футбол.

Отворилась дверь, и в прихожую вышел Гракин, вытирая рукой рот. От него пахло тем, что он съел и выпил.

— А! — обрадовался Гракин. — Проходи! Гостем будешь!

— Почему гостем? — спросил я, хотя уже все понял: Гракин сдал дачу.

— Я сдал дачу, — подтвердил Гракин. — Вот твои деньги.

Он протянул мне деньги. Я стоял и не брал. Гракин сунул деньги в мой карман.

Меня это покорило. Гракин заметил.

— Здесь надо жить, топить, — сказал Гракин. — А то дом рассыхается.

— Дому нужно общение, — сказал я.

— Что? — не понял Гракин.

Комментатор вдруг закричал «гол!», и в комнате торжествующе завопили несколько голосов.

— Проходи, — предложил Гракин.

— Нет, — отказался я. — Пойду.

В прихожую вышла Клава и посмотрела на меня открытым, чистым взглядом.

— Эх ты... — сказал я.

— Интересно, а на что ты рассчитывал?

— Поехали со мной, — позвал я.

— Нет, — отказалась Клава.

— Я буду тебя кормить и с тобой разговаривать.

— Это собаки привыкают к людям. А кошки — к дому...

— И тебе все равно с кем жить?

— Совершенно безразлично. Если меня не пинают ногами, конечно.

Я повернулся и пошел.

На улице было темно и ветрено. В небе мигали звезды.

Перед тем как выйти за калитку, я обернулся на дом. Из трубы шел дымок. Дом уютно светился желтыми окнами.

В углу правого окна, прижавшись мордочкой к стеклу, сидел котенок и смотрел мне вслед.

Я поднял руку и помахал ему. Котенок поднял лапу и тоже помахал, но не кистью, как я, а всей лапой, поводя слева направо, как кинозвезда, выходящая из самолета.

Я вышел за калитку. Поднял голову. Прямо надо мной, среди разрозненных облаков, стояла звезда.

— Ну, как тебе там? — спросил я негромко.

— Холодно, — отозвалась звезда, тоже негромко, и поежилась лучиком.

У меня была полная свобода под названием «одиночество».

Я остался один. Но зато научился понимать звезды.



## ПАРАКА

Слеза набухла медленно, долго, потом окончательно сформировалась и пошла по щеке. Добралась до края щеки, подождала еще одну слезу и, набрав тяжесть, сорвалась на стол, покрытый не то смолой, не то черной краской.

Лариска размазала слезу пальцем.

— Ну, скажи ему как есть... — зашептала я. — Просто поди и скажи...

— Что?

— Ну как «что»... Скажи: «Я вас люблю!»

— А он? — Лариска подобрала очередную слезу языком.

— А он тебе ответит.

— Что?

— «Я вас тоже» или скажет: «А я вас нет!» Так ты хоть будешь знать.

— А как ты думаешь, что он скажет?

— Прекратите разговоры! — приказала Гонорская. — Если вам неинтересно, можете выйти из класса. Можете вообще не ходить на мой предмет.

Мы с Лариской замолчали.

— Побочная партия! — объявила Гонорская и подошла к роялю.

Она села, ударила по клавишам двумя руками, и мне показалось, что рояль удивился, как человек, и вздрогнул так, что даже подпрыгнул на всех трех ногах.

Гонорская играет громко и фальшиво по принципу: дурак не заметит, умный промолчит. Я веду себя как дурак и как умный. Замечаю и молчу. Но когда я слышу такое исполнение, я испытываю смутение и стыд.

Гонорская старается играть пореже и носит с собой магнитофон. И сейчас она закрыла рояль и включила магнитофон. Потом села на свое место и задумалась. О чем? Наверное, о любви. И весь наш выпускной курс музыкального училища — восемнадцать дев и трое юношей, — все сидят, слушают симфонию Калининкова и думают о любви. Кроме меня. Я считаюсь на третьем месте по красоте, после Тамары и Лариски, но я никогда не думаю ни о чем, кроме музыки.

У меня есть какие-то мальчики, три или четыре, а может, пять. С одним из них мы даже целуемся в парадном, но я каждый раз жду при этом, когда он отодвинет свое лицо от моего и я смогу уйти домой и сесть за пианино.

Я играю по восемь часов каждый день не потому, что я повышенно добросовестная, а потому, что все остальное мне неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, ни то ни другое. Это моя форма существования.

И еще я люблю бывать дома, потому что мне скучно без моих родителей, а им без меня.

Отец у меня красавец. В него влюблены все больные и весь медицинский персонал. Когда-то маме это нравилось, потом не нравилось, теперь все равно.

Магнитофон ревет, как водопроводная труба, но сквозь плохую запись я ловлю нежную витиеватую тему: звук бежит из звука, мысль никак не может остановиться. Потом приостанавливается незавершенно, чтобы передохнуть и снова начать свое чистое кружение.

Гонорская сказала, что Калининков рано умер. Я слушаю его душу. Представляю его себе с косым пробором в волосах, со светлыми карими глазами.

— Конечно! — горячо шепчет Лариска. — Ведь если бы он меня не любил, он не вел бы себя так.

— Как?

— Демонстративно равнодушно!

— Конечно! — шепчу я. — Просто он тебя дразнит!

Чтение хоровых партитур — предмет необязательный, рассчитанный на то, что, если кто-нибудь по окончании училища захочет вести пение в общеобразовательной школе, он должен суметь прочитывать с листа хоровую партитуру.

Я, например, собираюсь после училища поступить в консерваторию, стать лауреатом всех международных конкурсов и объездить весь мир.

Лариска собирается выйти замуж за Игнатия Петровича и родить ему троих детей. Он об этом пока ничего не подозревает.

У остальных студентов тоже более честолюбивые планы, чем пение в школе, поэтому к предмету все относятся с пренебрежением.

Занятия бывают раз в неделю — по вторникам, на один академический час положено по два ученика. Мы с Лариской ходим на чтение партитур вдвоем, на каждую из нас причитается по двадцать две с половиной минуты.

Сегодня вторник. Мы с Лариской стоим в мрачном коридоре первого этажа и поджидаем Игнатия Петровича.

— Ну что ты в нем нашла? — спрашиваю я.

— То, что он недоступен моему пониманию. Как марсианин.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Рассказы

Нам нужно общение .....	5
Рарака .....	20
Пираты в далеких морях .....	48
Плохое настроение .....	88
Скажи мне что-нибудь на твоём языке .....	103
Японский зонтик .....	125
Тайна земли .....	132
Стечение обстоятельств .....	152
Шла собака по роялю .....	170
Рабочий момент .....	187
Летающие качели .....	200
Глубокие родственники .....	210
Центр памяти .....	219
Один кубик надежды .....	242
Счастливей конец .....	256

### Повесть

Ехал грека .....	264
------------------	-----